

В.В. Розанов

ИСТОРИЧЕСКАЯ РОЛЬ СТОЛЫПИНА

Что ценили в Столыпине? Я думаю, не программу, а человека; вот этого «воина», вставшего на защиту, в сущности, Руси. После долгого времени, долгих десятилетий, когда русские «для успехов по службе просили переменить свою фамилию на иностранную», явился на вершине власти человек, который гордился тем именно, что он русский и хотел соработать с русскими. Это не политическая роль, а скорее культурная. Все большие дела решаются обстановкою; всякая вещь познается из ее мелочей. Хотя, конечно, никто из русских «в правах» не обделен, но фактически так выходит, что на Руси русскому теснее, чем каждому инородцу или иностранцу; и они не так далеки от «привилегированного» положения турок в Турции, персов в Персии. Не в этих размерах, уже «окончательных», но *приближение сюда* — есть. Дело не в голом праве, а в использовании права. Робкая история Руси приучила «своего человека» сторониться, уступать, стушёвываться; свободная история, *притом исполненная борьбы*, чужих стран, других народностей, приучила тоже «своих людей» не только к крепкому отстаиванию каждой буквы своего «законного права», но и к переступанием и захвату чужого права. Из обычая и истории это перешло наконец в кровь; как из духа нашей истории это тоже перешло в кровь. Вот это-то выше и главнее законов. Везде на Руси производитель — русский, но скопщик — нерусский, и скопщик оставляет русскому производителю 20 проц. стоимости сработанной им работы или выработанного им продукта. Судятся русские, но в 80 проц. его судят и особенно защищают перед судом лица не с русскими именами. Везде русское население представляет собою темную глыбу, бараждающуюся и бессильную в чужих тенетах. Знаем, что все это вышло «само собою», даже без ясных злоупотреблений: скажем — вышло беспринципно. Но в это «само собою» давно надо было

начать вглядываться; и с этою «беспричинностью» как-нибудь разобраться. Ничего нет обыкновеннее, как встретить в России скромного, тихого человека, весь порок которого заключается в отсутствии нахальства и который не находит *никакого приложения* своим силам, способностям, нередко даже *таланту*, не говоря о готовности и прилежании. «Все места заняты», — «все работы исполняются» людьми, которые умеют хорошо толкаться локтями. Это самое обычное зрелище; это зрелище везде на Руси. Везде русский отталкивается от дела, труда, должности, от заработка, капитала, первенствующего положения и даже от вторых ролей в профессии, производстве, торговле и оставляется на десятых ролях и в одиннадцатом положении. Везде он мало-помалу нисходит к роли «прислуги» и «раба»... незаметно, медленно, «само собою» и, в сущности, беспричинно, но *не-прерывно и неодолимо*. Будущая роль «приказчика» и «на посыпках мальчика», в своем же государстве, в своей родной земле, невольно вырисовывается для русских. Когда, в то же время, никто русским не отказывает ни в уме, ни в *таланте*. Но «все само собою так выходит»... И вот против этого векового уже направления всех дел встал большой своей и массивной фигурой Столыпин, за спиной которого засветились тысячи надежд, пробудилась тысяча маленьких пока усилий... Поэтому, когда его поразил удар, все почувствовали, что этот удар поразил всю Русь; это вошло не основною частью, но это вошло очень большою частью во впечатление от его гибели. Вся Русь почувствовала, что это *ее ударили*. Хотя главным образом вспыхнуло чувство не к программе, а к человеку.

* * *

На Столыпине не лежало ни одного *грязного пятна*: вещь страшно редкая и трудная для политического человека. Тихая и застенчивая Русь любила самую фигуру его, самый его образ, духовный и даже, я думаю, физический, как трудолюбивого и чистого провинциального человека, который немного неуклюже и неловко вышел на общерусскую арену и начал «по-провинциальному», по-саратовскому, делать петербургскую работу, всегда запутанную, хитрую и немного нечистоплотную. Так ей «на роду написано», так ее «мамка ушибла». Все было в высшей степени открыто и понятно в его работе; не было «хитрых петель лисицы», которые, может быть, и изумительны по уму, но которых никто не понимает, и в конце концов все в них путаются, кроме самой лисицы. Можно было кой-что укоротить в его делах, кое-что удлинить, одно замедлить, другому, и многому, дать большую быстроту; но Россия сливалась сочувствием с общим направле-

нием его дел — с большим, главным ходом корабля, вне лавирования отдельных дней, в смысле и мотивах которого кто же разберется, кроме лоцмана. Все чувствовали, что это — русский корабль и что идет он прямым русским ходом. Дела его правления никогда не были партийными, групповыми, не были классовыми или сословными; разумеется, если не принимать за «сословие» — русских и за «партию» — самое Россию; вот этот «средний ход» поднял против него грызню партий, их жестокость; но она, вне единичного физического покушения, была бессильна, ибо все-то чувствовали, что злоба кипит единственно от того, что он не жертвует *Rossieю — партиям. Inde irae**, единствен... Он мог бы составить быстрый успех себе, быструю газетную популярность, если бы начал проводить «газетные реформы» и «газетные законы», которые известны наперечет. Но от этого главного «искушения» для всякого министра он удержался, предпочитая быть не «министром от общества», а министром «от народа», не реформатором «по газетному полю», а устроителем по «государственному полю». Крупно, тяжело ступая, не торопясь, без нервничанья, он шел и шел вперед, как саратовский земледелец, — и с несомненными чертами старопамятного служилого московского человека, с этой же упорною и не рассеянною преданностью России, одной России, до ран и изуродования и самой смерти. Вот эту крепость его пафоса в нем все оценили и ей понесли венки: понесли их благородному, безупречно му человеку, которого могли ненавидеть, но и ненавидящие бессильны были оклеветать, загрязнить, даже заподозрить. Ведь ничего подобного никогда не раздалось о нем ни при жизни, ни после смерти; смогли убить, но никто не смог сказать: он был *лживый, кривой* или *своекорыстный* человек. Не только не говорили, но не шептали этого. Вообще, что поразительно для политического человека, о которых всегда бывают «сплетни», — о Столыпине не было никаких сплетен, никакого темного шепота. Всё дурное... виноват, всё злобное говорилось вслух, а вот «дурного» в смысле пачкающего никто не мог указать.

* * *

Революция при нем стала одолеваться *морально*, и одолеваться в мнении и сознании всего общества, массы его, вне «партий». И достигнуто было это не искусством его, а тем, что он был *вполне порядочный человек*. Притом — всем видно и для всякого бесспорно. Этим

* Отсюда гнев (лат.).

одним. Вся революция, без «привходящих ингредиентов», стояла и стоит на одном главном корне, который, может, и мифичен, но в этот миф все веровали: что в России нет и не может быть честного правительства; что правительство есть клика подбравшихся друг к другу господ, которая обирает и разоряет общество в личных интересах. Повторяю, может быть, это и миф; наверно — миф; но вот каждая сплетня, каждый дурной слух, всякий шепот подавлял «веры в этот миф». Можно даже сказать, что это в общем есть миф, но в отдельных случаях это нередко бывает правдой. Единичные люди — плакали о России, десятки — смеялись над Россией. Это произвело общий взрыв чувств, собственно русских чувств, к которому присосалась социал-демократия, попыталась их обратить в свою пользу и частью действительно обратила. «Использовала момент и массу в партийных целях». Но не в социал-демократии дело; она «пахала», сидя «на рогах» со всем другого животного. Как только появился человек без «сплетни» и «шепота» около него, не заподозренный и не грязный, человек явно не личного, а государственного и народного интереса, так «нервный клубок», который подпирал к горлу, душил и заставлял хрипеть массив русских людей, материк русских людей, — опал, ослаб. А без него социал-демократия, в единственном числе, всегда была и останется для России шуткой. «Покушения» могут делать; «движения» никогда не сделают. Могут еще многих убить, но это — то же, что бешеная собака грызет угол каменного дома. «Черт с ней» — вот все о ней рассуждение.

За век и даже века действительно « злоупотреблений» или очень яркой глупости огромное тело России точно вспыхнуло как бы сотнями, тысячами остро болящих нарывов: которые не суть смерть и даже не суть болезнь всего организма, а именно болячки, но буквально по всему телу, везде. Можно было вскрывать их: и века пытались это делать. Вскроют: вытечет гной, заживет, а потом тут же опять нарывает. Все-таки революция промчалась не напрасно: бессмысленная и злая в частях, таковая особенно к исходу, при «издыхании» (экспроприации, убийства), она в целом и особенно на ранней фазе оживила организм, быстрее погнала кровь, ускорила дыхание, и вот это внутреннее *движение*, просто *движение*, много значило. Под «нарывным телом» переменилась постель, проветрили комнату вокруг, тело вытерли спиртом. Тело стало *крепче*, дурных соков меньше — и нарвы стали закрываться без ланцета и операции. Россия сейчас несомненно крепче, народнее, государственнее, — и она несомненно гораздо у-

тройчivee, против других держав и инородцев, нежели не только в пору Японской войны, но и чем все последние 50 лет. Социально и *общественно она гораздо консолидированнее*. Всего этого просто нельзя было ожидать, пока текли эти нечистые 50 лет, которые вообще можно определить как полвека русского нигилизма, красного и белого, нижнего и верхнего. Русь перекрестилась и оглянулась. В этом оздоровлении Столыпин сыграл огромную роль — просто русского человека и просто нравственного человека, в котором не было ни йоты ни красного, ни белого нигилизма. Это надо очень отметить: в эпоху *типично нигилистическую и всеобъемлюще нигилистическую*, — Столыпин ни одной крупинкой тела и души не был нигилистом. Это очень хорошо выражается в его красивой, правильной фигуре; в фигуре «исторических тонов» или «исторического наследства». Смеющимся, даже улыбающимся я не умею его себе представить. Очень хорошо шло его воспитание: сын корпусного командира, землевладелец, питомец Московского университета, губернатор, — он принял в себя все эти крупные бытовые течения, все эти «слагаемые величины» русской «суммы», без преобладания которой-нибудь. Когда он был в гробу так окружен бюрократией, мне показалось — я не ошибался в чувстве, что вижу собственно сраженного *русского гражданина*, отнюдь не бюрократа и не сановника. В нем не было чванства; представить его себе осыпаным орденами — невозможно. Всё это мелочи, но характерна их сумма. Он занят был всегда мыслью, делом; и никогда «своей персоной», суждениями о себе, слухами о себе. Его нельзя представить себе «ожидающим награды». Когда я его слыхал в Думе, сложилось впечатление: «Это говорит *свой* среди *своих*, а *не инородное Думе лицо*». Такого впечатления не было от речи Горемыкина, ни других представителей власти. Это очень надо оттенить. Он весь был монолитный, громоздкий; русские черноземы надышали в него много своего воздуха. Он выступил в высшей степени в свое время и в высшей степени соответственно своей натуре: искусственность парламентаризма в применении к русскому быту и характеру русских как-то стучевалась при личных чертах его ума, души и самого образа. В высшей степени многозначительно, что первым настоящим русским премьером был человек без способности к интриге и без интереса к эффекту, — эффектному слову или эффектному поступку. Это —«скользкий путь» парламентаризма. Значение Столыпина, как образца и примера, сохранится на многие десятилетия; именно как образца вот этой *простоты*, вот этой *прямоты*. Их можно считать «завещанием Столы-

пина»: и завещание это надо помнить. Оно не блестит, но оно драгоценно. Конституционализму, довольно-таки вертлявому и иногда несимпатичному на Западе, он придал русскую бороду и дал русские рукавицы. И посадил его на крепкую русскую лавку, — вместо беганья по улицам, к чему он на первых шагах был склонен. Он незаметно самою натурою своею, чуть-чуть обывательскою, без резонерства и без теорий, «обрусили» парламентаризм: и вот это никогда не забудется. Особенно это вспомнится в критические эпохи, — когда вдруг окажется, что парламентаризм у нас гораздо национальнее и, следовательно, устойчивее, гораздо больше «прирос к мясу и костям», чем это можно вообще думать и чем это кажется, судя по его экстравагантному происхождению. Столыпин показал единственный возможный путь парламентаризма в России, которого ведь могло бы не быть очень долго, и может, даже никогда (теория славянофилов; взгляд Аксакова, Победоносцева, Достоевского, Толстого); он указал, что если парламентаризм будет у нас выражением народного духа и народного образа, то против него не найдется сильного протesta, и даже он станет многим и наконец всем дорог. Это — первое условие: *народность его*. Второе: парламентаризм должен вести постоянно вперед, он должен быть постоянным *улучшением страны* и всех дел в ней, мириад этих дел. Вот если он полетит на этих двух крыльях, он может лететь долго и далеко; но если изменить хотя одно крыло, он упадет. Россия решительно не вынесет парламентаризма ни как главы из «истории подражательности своей Западу», ни как расширение студенческой «Дубинушки» и «Гайда, братцы, вперед»... В двух последних случаях пошел бы вопрос о разгроме парламентаризма: и этого вулкана, который еще горяч под ногами, не нужно будить.